

18+

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ

ТОЧКА РОСЫ

повести и рассказы

Александр Иличевский

Точка росы. Повести и рассказы

«Альпина Диджитал»

Иличевский А. В.

Точка росы. Повести и рассказы / А. В. Иличевский — «Альпина Диджитал»,

ISBN 978-5-00-139741-0

В сборнике рассказов и повестей Александра Иличевского «Точка росы» соседствуют тексты разных лет и разных мест – из любимого автором Иерусалима читатель переносится в нервную Москву девяностых, из холодного современного Берлина – в жаркий Крым, из Венеции – в Сан-Франциско и от сказочного Каспия – к Мёртвому морю. Но даже в самом небольшом рассказе, на пространстве двух-трёх страниц, Иличевский остаётся верен себе – художнику, философу, учёному, писателю, для которого чувства важны не меньше, чем мысли, а стиль не отменяет сюжетной увлекательности. Малая проза Александра Иличевского на самом деле проза большая.

ISBN 978-5-00-139741-0

© Иличевский А. В.
© Альпина Диджитал

Содержание

I	7
Солнечные рыбы	7
Элегия для N.	10
Бутылочка	11
West Sacramento	12
Сахар	14
Эльмау	15
Сухоцвет	17
У самаритян	18
Двенадцатое апреля	20
На крышах мира	22
Хемингуэй	23
Alabama Song	24
Вереск	27
Round Table	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Александр Иличевский

Точка росы. Повести и рассказы

Авторский сайт Александра Иличевского – <https://www.ilichevsky.com>

Редактор-составитель Анна Матвеева

Издатель П. Подкосов

Продюсер Т. Соловьёва

Руководитель проекта М. Ведюшкина

Арт-директор Ю. Буга

Дизайн обложки Н. Теплов

Корректоры Е. Аксёнова, Ю. Сысоева

Компьютерная верстка А. Фоминов

© А. Иличевский, 2022

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2022

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ
ТОЧКА РОСЫ
повести и рассказы

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2022

альпина
ПРОЗА

Светлой памяти моей мамы

I

Мар-Саба

Солнечные рыбы

В те времена моё будущее заблудилось и примостилось отдохнуть по ту сторону планеты. Уезжал я с одной только мыслью – воссоединиться с ним и вернуться обратно.

Летел я в Сан-Франциско через Нью-Йорк, время полёта прошло незаметно, потому что, когда вам двадцать три года и вы переправляетесь через океан впервые, каждая минута становится наслаждением. Особенно если вы, продвигаясь вплотную к Северному полюсу, постоянно наблюдаете у горизонта никак не желающее закатиться солнце. Льды Гренландии тлеют и блистают в свете этого негасимого заката. Сам по себе масштаб путешествия через полюс, однажды установленный Жюлем Верном и Чкаловым, кажется чем-то подобным космическому полёту.

В Нью-Йорке в аэропорту я получил чемодан и прошёл въездные формальности, после чего оказался на борту пустого самолёта, который должен был перенести меня с берегов Атлантики на берег Тихого океана. Я лёг на разложенные сиденья и, закутив, стал смотреть в ряд иллюминаторов, за которыми наконец наступала, но упорно медлила ночь. Но вот появились и заслезились звёзды. Часов через пять показались чёрные воды залива, мы садились прямо в него. Плюсной шасси самолёт едва не коснулся водной поверхности – так совершилось моё приземление в новую жизнь: будто перо обмакнули в чернильницу.

Я проспал ночь и ещё полдня, а проснувшись, обнаружил себя на 25-й авеню, неподалёку от парка Golden Gate, в котором росли белоснежные каллы. Я вышел погулять, и первым человеком, который обратил на себя моё внимание, стала плохо выглядящая девушка, она разговаривала сама с собой. С опрокинутым лицом она быстро шла по тротуару в сторону Geary Street и, жестикуюлируя, с кем-то спорила. Так я впервые увидел дьявола по имени Heroin.

А первым американцем, с которым мне довелось в тот день побеседовать, оказался наш сосед по 25-й авеню – дядя Боря, одессит. Это был измученный астмой человек с крупными, уверенными чертами лица. Он поставил на ступеньки крыльца кислородный баллон и прохрипел: «Мальчик мой, добро пожаловать в Америку!» Затем он открыл гараж и подвёл меня к белому «мерседесу». «Мишенька, через год у тебя будет такая же машина!»

«Дядя Боря, – спросил я доверчиво, – чем вы занимались в Советском Союзе?»

«Чем занимался? Я скажу тебе, Мишенька. Воровал. Когда меня посадили, я позвал к себе жену Раю. Рая, сказал я, продай всё и отдай адвокату. Рая продала всё и отдала адвокату. И он меня вытащил. А я вышел и наворовал ещё больше».

Моей первой работой в Калифорнии стала подвозка. Так это называл дядя Боря. На деле мы с человеком по имени Эдик, тоже одесситом, отправились в предгорья Сьерры, в Walnut Creek, и постучались в дверь некоего профессора. Он открыл и предложил нам выпить, мы отказались, и тогда этот бородатый приветливый профессор в майке с эмблемой Brandman University проводил нас в гараж. Здесь он черкнул подпись в документах и выдал ключи от стоявшего тут минивэна Dodge Caravan.

Это был приличный автомобиль со всеми рабочими агрегатами, покрытый ковром пыли. Мы подкачали колёса на ближайшей заправке и отправились в обратный путь. Дорога проходила в горных местах, и в какой-то момент мы нырнули в неосвещённый туннель. Я так и не сумел включить фары, шаря заполошно по панели, а когда вынырнул наружу, свет закатного солнца размазался по грязному стеклу. Какое-то время я ехал с солнцем во лбу и передвигался

по приборам, как высотный самолёт-разведчик. Когда мы добрались до Сан-Франциско, выяснилось, что за работу Эдик должен мне двадцатку. Он протянул купюру, но прежде я решил поинтересоваться: что это было? Что произойдёт с этим «доджем»? Оказалось, автомобиль, в числе многих других, станет благотворительным даром какой-то конторе при синагоге, причём контора займётся перепродажей этих машин, вместо того чтобы распределять между прихожанами.

Я свернул в трубочку купюру и протянул Эдику обратно: «Вот, – сказал я, – это дяде Боре в задницу».

Юных иммигрантов охотно привечала организация Jewish Family And Children's Service. Три раза в неделю я приходил в офис JFCS в даунтауне, где нам внушали что-то такое, благодаря чему мы должны были поскорей понять, где оказались. Джанин Шмиц преподавала нам профориентацию. Я отлично помню эту белобрысую девушку в круглых очках, помню её возлюбленную – нервную китайку в соломенной шляпке, помню даже их жёлтого «жука», который мне как-то пришлось заводить с толкача.

В JFCS работали сплошь выпускницы Slavic Studies из Стэнфорда, где русский язык и литературу преподавали с целью подготовить специалистов в области русской культуры для военной разведки. Долгое противостояние с врагом никогда не проходит даром, понемногу вы становитесь с ним схожи.

На уроках разговорного английского мы сидели за круглым столом, нас было шестеро. Вела урок Мишель: лет тридцати, майка с надписью «Fuck Off». Светка – смешливая, весёлая, рослая, волейболистка. Иришка – дивная дочь иерусалимская с соболиными бровями и синими глазами, необыкновенно душевная, но пугливая. Владик – большеглазый чувак с чёлкой и тяжёлой челюстью, играл на гитаре, это он мне сказал на вечеринке, давай покажем американцам, как русские умеют пить. Ленка – моя девушка. Под конец курса обучения Мишель пригласила нас к себе домой на вечеринку, и мы явились туда с упаковкой Guinness. Дом Мишель был классической для Сан-Франциско викторианской постройки, с эркерами и мансардой, пребывание в нём уже было угощением.

Мы с Ленкой в тот день классно провели время. Сначала на вечеринке было ясно и интересно, один из тех моментов, когда кажется, что всё вокруг пребудет в вечности и к чёрту проблемы, прошлые и будущие. Что мир исполнен любви и мёртвые возвращаются к жизни. Чуть позже вечеринка в печальной покорности немного скисла. Владик напился. С трясущейся над гитарой чёлкой он выглядел каким-то поэтом. Я смотрел на этого своего приятеля, и мне даже в голову не приходило, что за свою жизнь я грезил не меньше, чем он.

Вскоре я сидел на крыльце, выходявшем в задний дворик, полный сумерек и цветущего шиповника, и разговаривал с иранцем, выросшим на берегу того же Каспийского моря, на котором рос и я. Это был Мохсен, парень Мишель, и она присела к нам с бутылкой пива в руке, прислушиваясь к тому, что мы вспоминали.

Мохсен рассказывал, как однажды дядя взял его на рыбалку и начался шторм, так что они еле сумели вернуться на берег.

А я говорил ему, что жизнь и смерть для меня выражены бесконечным морским берегом, совершенно пустынным. Мы с отцом были поглощены такими морскими прогулками – когда уходили по колено в воде по апшеронским отмелям едва ли не за горизонт. Залитая солнцем морская бесконечность плоских берегов воплощала для меня внутреннее понимание счастья, покоя, единения с мирозданием.

Не знаю, что на меня нашло, но я рассказал Мохсену и Мишель, как однажды мы с отцом добрались до торчавших вдали из воды скал. Он оставил меня на них, а сам уплыл так далеко, что я не смог разглядеть его у горизонта.

Отца не было вечность. Его беспечность объяснялась тем, что он вырос на Каспии сиротой. И это море было ему роднее материнской утробы.

Когда он вернулся, я был уже раздавлен солнечным ударом и еле сумел, держа отца за плечи, добраться до берега. Дальше он нёс меня на руках до шоссе. Дома лечить меня никто и не думал, я просто проспал сутки и встал как новенький.

После той вечеринки Ленка села за руль.

Мы возвращались через парк и вдруг впереди в свете фар на дороге увидели оторванную окровавленную ногу.

Ленка ударила по тормозам и посмотрела на меня.

Но тут из кустов на обочине выскочили подростки и, корчась от смеха, забрали бутафорскую ногу. Мы поехали дальше, вспомнив, что завтра Хеллоуин.

В ту ночь я увидел во сне тех же глубоководных рыб, как и тогда посреди солнечной пустыни в детстве, когда погибал от солнечного удара на скалах в открытом море. Рыбы проплывали надо мной в ослепительной тьме, хватали за волосы ртами и тянули вверх, прочь из глубины забвения.

2020

Элегия для N.

В некоторых из нас божество. Влечение – первый его признак. Божество излучает притяжение, магический магнетизм. В этом смысле оно больше, чем человек. Жадность и несокрушимость – тоже признаки божества.

Да, теперь она любит ткани. Ездит в Сан-Франциско, город моей юности, на улицу Клемент выбирать в китайских лавочках шёлк. Так повелось, что она живёт там, где я жил какое-то время когда-то, будто разведчик её полка.

Вечерами она медитирует в саду на развешанное полотнище.

Забивает косяк и постепенно переселяется в узоры. Такая забава на холмах Беркли – сквозь акации и олеандры блещет закат над заливом, небоскрёбы Сан-Франциско пылают отражённым солнцем вдалеке, сутулятся портовые краны Окленда.

Любимый её сорт – Soft Amnesia. Так растёт наша с ней безучастность.

Жила она в Сокольниках, на десятом этаже, окнами на парк. Глаза её меняли цвет в зависимости от времени суток – от александрита до аметиста.

Она красиво курила, держа сигарету на отлёте.

Сидела на стуле, поджимая ноги к груди.

Ещё одна, о юность, промолчит. Твердила «нет», зачем слова, бери как есть. Хотела белой скатерти, свечей, фарфора, теперь всего хватает. В то же время она лишь кальций под лужайками Коннектикута, Новой Англии, Уэльса. И Калифорнии. Как много чаек мёртвых хранит твоё дыхание над Беркли.

Как долгие взгляды через залив, как много вспомнится, пока достигнет небоскрёбов.

Как мало знания в нашем разделённом – историей и океаном, бездна – дитя обоих. Да, моря слагаются из течей. История – из праха, в этом суть.

Любовь скатёрку стелет простынёй, двумя руками приближая песни. Нам нашу наготу нельзя сносить. Так много сложено в одном объятии, здесь столько солнца, зелени и ягод, подземных льдов и рек, несущих этих слепых щенят, какими были мы на кончике луча, в руке судьбы или чего-то больше, бессмысленного, как всё наше время.

Двоих тебе родить, троих. Отныне шум океана станет лучшей колыбельной для наших нерождённых, для меня. Пересекая небо мерзлотой, когда решишь мне отогреть свой поцелуй, вместе с империей, отыгранной у стали, я здесь, я на лужайке камень твой.

Одна всегда молчала, как судьба, курила, думала, два слова иногда обронит, неизменна, как расплавленная вода.

Звезда её отлита из свинца. Беременна, встаёт у зеркала и зажигает огненные горы. И горькую улыбку свирепой рабыни. В Сокольниках ещё звенят её коньки, скрежещет тормоз зубчатый и пируэт.

Где истина? В лыжне, бегущей вдоль сожжённых взрывом газопровода берёз.

В путях Казанского и Ярославского, в хорьковой жаркой шубе Москвы палатной, по бульварам родным раскиданной. Серёжка отцветшей липы за виском, столь близко нагота и песнь спартанки. Как я рубился за тебя, один Господь, один.

В Томилино заборы дачные сиренью сломлены. Теперь я далеко, где и мечтал, на самом крае пустыни, лишь; я прикоснулся: «Такая клятва разрывает сердце».

И солнце в волосах, и эта статья, любовь, колени, плечи, бёдра, этот шёлк.

Здесь горизонт пробит закатом. Здесь Нил течёт, а я на дне, здесь Троя.

Здесь духов больше, чем людей. Здесь жернова смолоты вечность.

2019

Бутылочка

Когда идёшь в пустыню, минимальный запас дневной воды составляет шесть литров.

В те времена она была молодым врачом, без кабинета, почему ей и приходилось сидеть с нами в одной комнате. Иногда комната оказывалась запертой, и надо было какое-то время бесцельно слоняться по коридору, поджидая, когда Полина закончит сцеживать молоко. Она была уже матерью двоих детей, когда я начинал работать в госпитале, и недавно родила третьего.

Однажды в выходные она позвонила мне в слезах:

– Ты можешь заехать?

– Могу.

– Я забыла в кубрике в холодильнике бутылочку молока. Привези её мне.

Полина – бронзовокожая парижанка с острым милым носиком, дочь богатых родителей, владеющих несколькими доходными домами на бульваре Сен-Жермен. Мы иногда болтали по дороге домой, когда я её завозил на окраину Иерусалима, поскольку сам жил ещё дальше, почти у самого Вифлеема.

Она неизменно жаловалась на своего мужа – сиониста и непутёвого бизнесмена, решившего торговать удочками и рыболовными снастями в Израиле. Муж часто пропадал где-то по делам, и она боялась, что он изменяет ей. Рослый красавец, будучи религиозным человеком, он был к тому же и настоящим французом. Когда я оказался у них в гостях, мне вздумалось пожаловаться на боль в спине, и Поль пригласил меня на кухню, где протянул джойнт толщиной с палец: я сделал несколько затяжек, и меня в самом деле отпустило. Потом мы с ним никак не могли расстаться и минут двадцать стояли в коридоре, где я изо всех сил пытался проститься и уйти восвояси, но чары только что наступившего исцеления, давшего нам чувство общности, не отпускали меня.

Я приехал, Полина обрадовалась и познакомила меня со своей няней – светловолосой девушкой, благодаря которой все её дети немного говорили по-русски.

Полина отвела меня на кухню и, протянув бокал вина, сказала:

– Сегодня вечером в Негеве проходит рейв. Можешь меня туда отвезти?

Я кивнул, и мы, оставив детей на няню, отправились в недра пустыни.

Мой Jeep Patriot летел, раскраивая страну с севера на юг, становясь всё меньше, превращаясь в точку.

Рейв проходил в ущелье неподалёку от раскопок древнего набатейского города Мамшита. Великанские тени дрожали и плыли по поверхности скал. На рейве мы вскоре столкнулись с Полем. Он удивился и обрадовался. Втроём мы встретили рассвет, и я проводил их до машины.

Мне не хотелось уезжать, и, понаблюдав, как диджеи разбирают аппаратуру, я отправился вверх по ущелью. Там я вскоре заплутал, не стал возвращаться, а нашёл уютную пещеру и залёг в ней на плоском огромном камне, похожем на надгробие библейского гиганта.

Я уснул мгновенно и проснулся только в полдень.

В пустыне было так тихо, что я слышал, как тлеет сигарета.

Страшно хотелось пить.

И тогда я нащупал в рюкзаке бутылочку, о которой все забыли.

2020

West Sacramento

Мне тогда исполнилось двадцать пять лет, и, чтобы не сгинуть от тоски и одиночества, я бегал трусцой или ходил на рыбалку. Вечером, если я не шёл на реку, то выбегал на окраину Западного Сакраменто и наворачивал круги вокруг пустыря. Там строилось новое здание какого-то банка, и каждый день в зависимости от силы ветра и проделанных работ оркестр незакреплённых деталей конструкции звучал иначе. Когда строительство завершилось, здание смолкло. Вместе со мной на том пустыре иногда появлялся обшарпанный «олдсмобиль». Из окошка его свешивался поводок, на котором рядом трусила старая облезлая собака. Машина еле ползла, но всё равно видно было, что собака скоро издохнет от усилий. Я обгонял автомобиль, в моих наушниках, в которых завывала «Агата Кристи». Я тосковал по России и безнадёжно мечтал в неё вернуться.

В Калифорнии я поселился сначала в Сан-Франциско и успел полюбить этот город на берегах океанского залива. Особенно мне нравились зловещие туманы, заливавшие ложбины между его холмами, как молочные реки. В такие осенние ночи город становился таинственным, будто в нём скрывалось моё будущее. Жил я поначалу в дешёвых отелях, учился программированию и работал в пиццерии на доставке, что позволяло мне знакомиться с самым нутром города. В течение одной смены богатые кварталы доставки несколько раз сменялись трущобами. Помню некоторых своих постоянных клиентов. Безносого негра из социального жилья на Бьюкенен, одаривавшего меня щедрыми чаевыми. Кроткого бездомного, жившего в трейлере с женой-мексиканкой. Он парковал свой дом на колёсах на разных улицах, а в пиццерию звонил из баров. Помню квартирку с вечно обдолбанными студентами, до которых невозможно было достучаться. И парочку, обитавшую в самом глухом переулке между высотками даунтауна. Парочка долго не отзывалась на звонки, а когда дверь приоткрывалась, я видел красавицу в наброшенном махровом халате и за ней – широкогрудого мужчину в постели. Кокаин их любви требовал пищи, и я им её поставлял. «Откуда ты?» – однажды спросила меня эта голубоглазая брюнетка. Я ответил, и она оживилась: «О, моя бабушка тоже русская».

Но вскоре я нашёл работу программиста в Фолсеме и переехал в столицу штата. Зато я снял за разумную цену домик с садом, в котором висел гамак, висел виноград, росли апельсиновые и лимонные деревья, множество розовых кустов, так что воздух той весной вокруг стоял упоительный. Неподальку текла река, а в гараже я нашёл, кроме окотившейся кошки, множество рыболовных снастей.

Этот район близ реки был населён русскими пятидесятниками. Не так давно советские протестанты, вдоволь натерпевшись от властей, совершили после крушения империи массовый исход в Америку. Русские тянутся к русским, так что дом мне сдал сын белогвардейца, прибывший когда-то с родителями из Харбина. «Вообще-то евреям я не сдаю», – сказал он при нашей первой встрече, когда я только вышел из машины. Невесело мне тогда жилось, и отдохновением от тоски, как я уже сказал, были бег и рыбная ловля. Рядом текла полноводная река Сакраменто, на берегу которой я по вечерам предавался невесёлым размышлениям. Я облюбовал одну заводь с омутом и с успехом потаскивал из него на донку сомов, которых тут же отпускал. Помню низкое солнце в паутине какого-то огромного паука, заплётшего тропу к берегу так густо, что кончик удилица сгибался, когда я сгонял чудище и прокладывал себе дорогу.

Я сидел у воды и думал о том, что рыбалка – это наука о невидимом, что недаром первые апостолы были из рыбаков, вероятно, что-то имелось в их ремесле отчётливо подходящее для возвещения новой религии.

Моими соседями справа оказалась примечательная семья из Белоруссии. Глава её – коренастый улыбчивый мужик – просил называть его дядей Петей. Жена его назвалась тётей Катей:

с густыми бровями и плохими зубами, ещё молодая женщина, она не раз приглашала меня на религиозные собрания. Однажды я согласился отвезти их – вместе с двумя дочерьми – в церковь. Одна дочка была удивительно похожа на тётю Катю, другая – противоположность ей и внешне, и по нраву: весёлая задорная хохотушка, довольно пухлая и вульгарная. Протестантская церковь напомнила мне дом культуры. На сцену один за другим выходили люди, говорившие в микрофон о том, как некогда тонули во грехе, но были спасены пробудившейся любовью к Господу. Затем устроители собрания стали обходить ряды с ящиками для сбора пожертвований, и некоторые прихожане, я заметил, совали в них пустую руку. Тётя Катя рассказала мне на обратном пути, что, когда они жили на хуторе в лесах, дядя Петя страшно пил, но после того, как стал ходить в церковь, бросил.

В конце Хобсон-авеню, где я поселился, стоял у самой реки дом, в котором жил Коля-расстрига с женой и маленьким сыном. Коля был тридцатилетний приземистый и широкоплечий парень с длинными руками – художник по керамике. Жена его, по имени Вера, была красивой рослой блондинкой, а сын, которого она страстно любила, – худеньким мальчишкой-плаксоём. Коля звался в обществе расстригой потому, что бросил ходить в церковь и стал попивать, проклиная американцев. Пил он эффектно, пару раз даже бегал вокруг дома своей соседки с канистрой бензина, угрожая всё спалить. Увидев меня из окошка, если мужа дома не было, Вера с сыном приходила на реку к заводу – посмотреть, как я ловлю рыбу. Я давал её сынишке поддержать удочку, и он сначала улыбался, а потом плакал от волнения, что сейчас клюнет.

Моя заводь была особенной – в ней обитала какая-то огромная рыба, которая иногда появлялась у поверхности, показывая огромный плавник. На закате рыба наворачивала круги, совершенно не обращая на меня внимания, и снова погружалась в омут. Я продолжал ходить на реку, потому что мне казалось, что, если я поймаю эту рыбу, я смогу победить свою тоску по оставленной родине.

Однажды ночью я проснулся от того, что где-то во дворе встало жаркое солнце. Я выскочил на крыльцо. Во дворе металась тётя Катя с дочерьми. Обезумевшая кошка вместе с котёнком жалась к забору. Пожарные приехали мгновенно, так что огонь не успел перекинуться на дом. Сгорела машина и все снасти.

После расследования Колю-расстригу арестовали и депортировали.

Веру взяли под своё крыло протестанты. Месяца через два, перед самым моим отъездом в Москву, она явилась ко мне в сопровождении приютившей её с сынишкой пары. Это были респектабельный строгий рослый мужчина и сухопарая женщина. Вера, вся вытянутая по струнке, как неродная, вручила мне протестантские брошюры и сказала: «Господь спасёт тебя, если ты Его полюбишь». Я улыбнулся, и они ушли.

Через день я сидел на Тверском бульваре с бутылкой водки за пазухой. Шёл снег. Снежинки кружились в конусах света фонарей. Впервые за три года у меня было хорошо на душе. Я посмотрел вверх, и мне показалось, что в порывах метели пронеслась та самая огромная рыба. Она снова была здесь, со мной.

Сахар

Когда-то меня поразил детский рассказ о крохотных матросах. Они появлялись ночью на палубе парусного кораблика, стоявшего на полке в комнате одного любознательного мальчика. Перед сном он клал на корму кусочек сахара, воображая, как в то время, пока он спит, матросы выходят из трюма и маленькими пилочками распиливают добычу.

Случается, я вспоминаю этот рассказ, когда пробую понять, где живу.

Если посмотреть на карту, можно убедиться, что мой дом стоит на самом краю Иерусалима, там, где он граничит с Вифлеемом. Всё, что я вижу вокруг, знакомо мне с детства. Я всё это видел на репродукциях «Малой истории искусства», заветный двухтомник которой добывал из недр книжного шкафа, где скрывался грядущий мир.

Известковые лобастые горы, золотисто-пепельные в июне и почти стальные в сентябре. Островки колючек и терпкого шалфея, окопы и дзоты времён Войны за независимость. Кипарисовые перелески. Пунцовые анемоны по весне, призрачные свечки морского лука по осени. Антилопы, виртуозно скачущие по склонам, маяча белыми зеркальцами под хвостами. Древняя дорога, заваленная на съезде бетонными блоками. Заросли розмарина, сизого, елового. Волны кипрейных полей раскачиваются пёстрым ветром. Стайки голубей полощутся в небе. Восьмиугольный остов базилики. Каменный короб монастыря с ультрамариновой росписью внутри по сводам. С минаретов по часам голоса муэдзины. Глухой дребезг колокола на Пасху.

На вершине горы, тянувшейся перед моим окном, когда-то пророк разговаривал с ангелом. И где-то на западном её склоне Мария, почувствовав схватки, спешила с ослика и поторопилась вернуться в Вифлеем.

Крестовые походы и художники-паломники привнесли в полотна Ренессанса эти видения Святой земли.

Над ними прозрачно царит Мадонна. И ты ощущаешь себя крохотным матросом корабля, идущего под парусами рукавов Святой Девы. А сахар... Сахар – это солнце для младенца.

2020

Эльмау

Оказавшись в незнакомом городе, писатель открывал местные полицейские сводки, среди которых выискивал упоминание площади, парка или сквера, где когда-то были взяты с поличным барыги. Прямоком туда и шёл при первой возможности.

В Лейпциге, куда приехал в сумерках накануне, его уже успели удивить три места. Томас-кирхе, где Бах, пятый евангелист, каждую неделю выдавал в космос по кантате. Мемориал сожжённой в 1938-м синагоги, на фундаменте которой под открытым небом теперь стояла сотня бронзовых стульев. И, конечно, вокзал, куда они примчались на скоростном с Михаэлем: гигантский ампирный портал подъездных путей, настолько огромный, что казалось, будто он помещался не столько в пространстве, сколько в воображении.

В Лейпциг писатель и переводчик приехали из Вены. А до того писатель прилетел в Мюнхен, откуда уже вместе с Михаэлем направился в Берлин; дальше были Зальцбург, Дрезден... И впереди маячил Инсбрук. Из Инсбрука, напоследок, его должны были забросить в Шлосс-Эльмау, замок-отель, где спа-салон среди снегов и лыжня вокруг замёрзшего горного озера.

Три дня в Эльмау – это было интересно, это он предвкушал. Замок основали поклонники баварского короля Людвига – покровителя искусств, утонувшего в озере. Хижина короля располагалась выше в горах, в ней монарх, оставив внизу свиту, любил в уединении покуривать опиум, глядя в заснеженную горную пропасть, куда погружалось солнце.

А ещё в Эльмау должна была прибыть из Гамбурга русоволосая красавица с нефритовыми зрачками, с которой он познакомился год назад на вечере в свою честь. Тогда они на следующий день рванули на Северное море, на границу с Данией. Там беспрестанно дул ветер, зашвыривавший слова обратно в рот, и на безлюдных пляжах стояли плетёные купальные будки, в которых они целовались, поглядывая на морскую пустыню, на растёртую нордом стальную зыбь. Целовались молча, потому что и так всё было ясно. С тех пор они переписывались. Но он ничего не узнал о ней, кроме того, что она – медсестра в хосписе.

В Инсбрук писатель должен был вылететь уже без переводчика. На встречи в промотуре с каждым разом приходило всё больше людей. Михаэль перешёптывался с организаторами, сообщавшими, сколько было продано билетов. В Вене читатели уже просто ломились. Михаэль проворчал на ухо: «Сто сорок». Не избалованный и двадцатью слушателями, писатель кивнул.

Проснувшись в Лейпциге и заглянув в гугл-карты, он уже через десять минут пересекал сквер у Музея искусств. Преодолев небольшой парк и площадь, он протянул нищему мальчишке-сирийцу пять евро.

Затем он зашёл в привокзальный «Макдоналдс». Там встретил этого же замёрзшего, с синими губами, пацана, впившегося в гамбургер. Они переглянулись. Набывчившийся мальчишка с хлопом вытянул остатки кока-колы, а писатель поспешил к свободной кассе.

На следующий день, выйдя из такси, он обнялся с Михаэлем, через мгновение зашагавшим к дальнему терминалу, и переложил из кармана на край урны оставшийся кусочек, завернутый в папиросную бумажку: вдруг не пропадёт и кому-то пригодится.

В Инсбруке его встречал в аэропорту придворный водитель, а в лобби замка его ждали. Он сразу увидел её – такую долгую, нога на ногу, отвесно сидевшую на оттоманке над чашкой кофе.

Дальше они почти бежали по сводчатым замковым коридорам, умудряясь на лету целоваться. А потом были два дня прогулок в горах и две ночи, в течение которых они говорили только о том, что вокруг и сейчас, ни слова о прошлом, ни слова о будущем. Это был их молчаливый уговор. Лишь однажды она обмолвилась о себе. Встала покурить у открытого окна в пол. Переминалась с ноги на ногу на захрустевшей ледком лужице, набежавшей днём с карниза, посмотрела на освещённые луной лесистые склоны... и засмеялась.

Он подошёл к ней.

«Ничего особенного. Просто вспомнила... Просто вспомнила. Мне было тринадцать, когда мы эмигрировали в Германию. Мать скоро вышла замуж за немца. Он был добрым пьяницей. Всё время дул пиво и, когда напивался, орал на нас, что мы ни чёрта не понимаем по-немецки».

Утром они прошлись в последний раз вокруг озера. Снежный накат поскрипывал под подошвами. Проезжали навстречу сани. Лошадь была с заиндеветой мордой и позвякивала бубенцами на сбруе. Лес, засыпанный ночным снегопадом, поднимался и высился по склонам причудливыми, как в оперных декорациях, фигурами... Всё было залито светом, перемежаемым набегающими клочьями облаков.

Возвращаясь из аэропорта, снова запрещал себе думать. Была ли она замужем? Есть ли дети? Или у неё счастливая семья? Эти знания были лишними.

Вечером, после выступления, он отправился в сауну. В отеле этом имелось установление, они прочитали о нём в брошюре с прикроватной тумбочки: «No eyes' contact, please». Да, никто из постояльцев не посмел за всё время посмотреть ему в глаза.

Сначала он зашёл в хамам, пропал в мраморной пещере в клубах пара, как пропадали утром в облаках горные вершины, когда они гуляли вокруг озера. Затем в сауне столкнулся с целой компанией. Один из них, рослый, атлетически поджарый парень, породистый, как почти все постояльцы, о которых он уже успел подумать: «Аристократы», – то и дело косился на него. Это показалось забавным, и он нырнул в бассейн, выплыл в канал, шедший кругом сауны под открытым небом, чтобы, перевернувшись на спину, всмотреться в близкие горные звёзды.

Когда вышел в предбанник, где компания разместилась в креслах, о чём-то оживлённо говоря, давешний парень вдруг порывисто подошёл к нему. «Скажите, – спросил он, указывая на шестиконечную звезду на цепочке на его груди, – из какой вы страны?» – «Из Израиля». – «Мне не нравится, что вы из Израиля. Я думал, в Шлосс-Эльмау никогда не будет человека из Израиля».

Писатель ничего не ответил. Он вернулся в сауну и сидел в ней до тех пор, пока ему не захотелось снова нырнуть, снова выплыть под звёзды. Он так и сделал, а потом вышел в раздевалку, где было пусто.

Перед тем как уснуть, он стоял у открытого окна, курил и допивал бутылку Laphroaig, ополовиненную с ней накануне. Под ногами похрустывал лёд, а над головой призрачно белели горные склоны, на которые когда-то посматривал знаменитый король.

2018

Сухоцвет

Пресня – баснословный район: когда-то бывшие мещанские огороды, зады Белорусского, самого военного вокзала страны, обращённого на запад выхода в Европу, место стоянки цыганских таборов, место первого столичного зверинца, злачных притонов и водяных мельниц, кра- сильных производств и портомоев, место баррикад и адрес «Облака в штанах» – я прожил в этой местности много лет, и чего там только со мной не приключалось.

Жил я в Столярном переулке, на углу с Малой Грузинской. Мой пёс, нынче завсегдатай Иудейской пустыни и Голанских высот, на Пресне обрёл свой щенячий дом. Первой дрессуре его и меня обучил сосед по этажу – Серёга, охотник и рыбак, купивший однокомнатную квар- тире в столице, прибыв из лесов Белоруссии. Он заработал на неё на поставках мёда и кар- тошки.

Мать Серёги – мужеподобная, короткостриженная, вечно в джинсах – была сильно пью- щей. Имелся у неё друг, с которым они частенько прикладывались к бутылке в конце дня, после работы на Ваганьковском рынке. Здоровенный усатый мужик, имени которого за годы мне не суждено было узнать, – он ладил с Серёгой, но смертельно ругался с его матерью. Орали они на весь подъезд, но до мордобоя не доходило.

Серёга внушал мне уважение своими уловами, с которыми возвращался с подмосковных водохранилищ, и знанием собачьей жизни. Шерлока он любил как своего, всегда готов был приласкать и научить полезному.

Однажды я заметил, как мать Серёги – Марья – вдруг переменялась. Во-первых, я узнал, как её зовут. Во-вторых, она протрезвела и ходила теперь какой-то посветлевшей. Она словно бы вспомнила, что женщина: стала носить платья, причёсываться. Нелепые сухоцветы появля- лись то в её коротких волосах, то приколотыми на платье. И всё казалось, когда я здоровался с ней, что она хочет что-то сказать. Она кротко улыбалась, про себя.

Как вдруг Серёга поделился: «Мать ходила по врачам. Сказали, что жить ей – месяц- другой».

Я не поверил. Эта рослая, грубая, крикливая женщина, казалось, не способна была уме- реть.

До сих пор я думаю о том, что же она мне сказала бы, если б смогла? Что умирает? Что смерть облагораживает при своём приближении?

Марья умерла, друг её куда-то делся, и Серёга стал жить один.

Перед моим отъездом он купил себе щенка русского сеттера и назвал его Макаром. Шер- лок теперь гуляет по пустыне, Макар носится по лесам и Пресне.

А я всё чаще задумываюсь о том, что звёзды понятнее, чем самая простая жизнь.

2019

У самаритян

Вся точёная, изящная, как маленький цветок, говорит властно:

– Хочешь, я покажу тебе тайное место?

И ведёт меня на вертолётную площадку.

Госпиталь, в котором мы с ней тогда работали, находился в Иудейских горах. С вертолётной площадки открылся вид на лесистые ярусы склонов, на провал, заросший снопами жёлтого дрока и инжирными деревьями, оставшимися от садов когда-то процветавших здесь деревень.

Под обрывом оказался небольшой выступ, мы спустились на него и там схоронились от посторонних глаз, как дети под столом во время праздника.

В ущелье опускалось солнце.

Она закрыла глаза, и её смуглая кожа озарилась бронзовыми лучами.

В другой раз говорит:

– Поехали завтра посмотрим, как самаритяне празднуют Пасху.

Сказано – сделано, и нас, заплутавших, чуть не занесло по дороге в Наблус.

– Тебе хорошо, – сказала она. – Тебе ничего не сделают. Скажешь: турист. А меня сожрут.

– Я тебя спасу.

– Правда?

Но на окраинах Наблуса с нами ничего не произошло, мы сориентировались, явились к самаритянам.

У подножья изумрудной горы, на вершине которой просматривались руины древнего храма, теснился посёлок. Уже в сумерках мы поднялись к нему вместе с растянувшейся толпой туристов, решивших поглазеть на древний ритуал. Свечки цветущего морского лука призрачно белели по обочинам.

Место празднества было огорожено, самаритяне бесцеремонно просеивали на входе публику и пускали только местных. Я вспомнил, как мальчишкой в Подмоскowie ходил с пацанами смотреть на взрослые танцы: та же ограда, та же круговерть вплотную к решётке.

Со всех сторон к капищу стогнали овец. Подъезжали и парковались новенькие «мерсы», «бэхи», из которых выходили нарядные женщины и в сопровождении детей цокали по тротуарам на каблуках, втягивались в особую толпу, отделённую от места, где пылал огонь. Мужчины давно уже были на месте.

Действом деловито руководили старцы в фесках и белых одеждах. Похожие на магрибских колдунов из «Тысячи и одной ночи», размахивая своими посохами, они со знанием дела ловко кормили дровами алтарные костры в огромных ямах, точили особые длинные ножи и совершали множество иных приготовлений. Некоторые из священников держали в руках книги и что-то, раскачиваясь, читали.

Подле костров, в отсветах пламени, клубились блеющие овцы.

В какой-то момент она прошептала:

– Смотри внимательно.

Я и так смотрел во все глаза. До последнего я не верил в то, что должно было произойти. Костры в ямах извергали столбы искр, затмевавших звёзды.

Толпа любопытствующих лепилась к ограждению, пытаясь уловить смысл ритуала.

Пылающая тьма блеяла, мычала, бормотала.

Затворы на фотоаппаратах стрекотали.

Как вдруг что-то пролетело по толпе, рванулось и замерло.

Разом всё стихло.

Погасли мгновенно костры.

Тишина накрыла площадку, посёлок, гору, небо.

Они убили их всех разом, по мановению незримого дирижёра.

Молчала смерть многих агнцев.

И когда закладывали освежёванные туши на огромных блюдах в угли, когда быстро-быстро остававшимся жаром с краёв засыпали ямы, глубокие, как могилы, она прижалась ко мне вся и прошептала:

– Это не мой Бог.

2017

Двенадцатое апреля

Со временем я заметил, что если в мире рождается человек с лицом кого-нибудь из великих людей прошлого, то он обречён на слабоумие. Происходит это, вероятно, оттого, что природа в таких чертах лица исчерпала свои возможности – и отныне долгое время они будут отданы пустоцветам.

Один из примеров здесь – Германн и Чичиков. Сходство профиля с наполеоновским поместило первого в 17-й номер Обуховской больницы, а второго – сначала в объятия отца Митрофана, а затем в кресло перед камином, в котором он и сгинул, поморгав огненной трёхглавой птицей, покатив, помахав страницами-крылами.

Но есть ещё и другой пример, более значимый.

Лицо Юрия Гагарина – очень русское, распространённое в народной среде. С конца 1970-х, ещё мальчиком, я стал встречать в электричках и на вокзалах – а куда податься неприкаянному, как не в путь? – сумасшедших людей, смертельно похожих на Гагарина. Лица их были совсем не одухотворены, как у прототипа, а одутловаты, взвинченны и углублённы одновременно. Их мимика, сродни набухшему пасмурному небу, поглотившему свет взгляда, жила словно бы отдельно от выражения, мучительно его содрогая, выводя из себя...

Вообще, не бессмыслен бытующий в народе слух, что Гагарин жив, что его упрятали с глаз долой, поменяв ему лицо, поселив в горе на Урале. Или – что его на небо взяли живым. Как Еноха. Как бы там ни было, в русских деревнях фотографию Гагарина можно встретить чаще, чем икону. Фотографию, на которой в милом круглом лице запечатлён первый очеловеченный взгляд на нашу планету.

День космонавтики, Сан-Франциско, много лет назад, Van Ness Avenue, Round Table Pizza, я в гостях у управляющего этим заведением – Хала Кортеса, он провожает последних посетителей, запирает за ними – и накрывает на стол.

Из бочки он цедит три кувшина пива, вытаскивает из печки Italian Garlic Supreme, врубает Jefferson Airplane – и спешит открыть стеклянную дверь: две ирландки – тёмленькая голу-боглазая и рыжая – присаживаются к нам за стол, и я с удовольствием вслушиваюсь в их шепеляво-картавый говор.

И вот пиво выпито, кувшины наполнены вновь, и Хал мастерит курево – не мнёт, а просто вставляет в опорожнённую мной беломорину крупное соцветие.

Пальцы его дрожат, с соцветия сыплется дымок пылицы.

Я настораживаюсь, вспомнив слово «сенсимилья».

И вдруг говорю, что прежде надо выпить за Гагарина.

Да, брюнетка хочет выпить за Гагарина.

Jefferson вещает о Белом Кролике.

За стеклянной стеной течёт Van Ness.

Опускаются сумерки.

В это время в Сокольниках дворничиха находит моего друга, накануне избитого шпаной и пролежавшего без сознания всю ночь в парке, у кафе «Фиалка».

Соцветие при затяжке оживает рубином и трещит. Брюнетка достаёт из кармана куртки полпинты Johnnie Walker и отпивает из горла две трети.

Окутавшись облаками дыма, Хал рассказывает о том, как его сумасшедшая мать каждый день звонит ему из Еврейского приюта и кричит, каким подонком был его покойный отец, «вонючий мексиканец». Каждый раз у неё отнимает трубку медсестра.

Рыженькая долго щебечет о чём-то, из чего я наконец понимаю единственное слово Dublin, – и тут же вся её речь вспыхивает «Навсикаей», которую отчего-то знаю наизусть.

Хал вдруг спрашивает, не угробил ли я ещё велосипед, который он продал мне две недели назад.

Да, говорю, почти. На подъёме вырвал третьей звёздочке два зуба.

Вдруг я встаю и, не прощаясь, отваливаю через посудомоечную. Брюнетка почему-то идёт за мной, но я отталкиваю её, и она наступает ногой в чан с тестом. Белая голова кусает её за ступню и не отпускает. Я успеваю выбежать.

Сажусь за руль, улицы летят через горло, тоннель на Geary Street выныривает в Japantown – и тут я понимаю, что мне безразлична не только разделительная полоса, но и цвет светофора. И тогда я начинаю разговаривать с самим собой, очень громко. Я говорю себе примерно так: «Внимание. Это светофор. Он жёлтый. Поднял правую ногу и опустил на тормоз. Жмёшь. Медленно, не резко. Останавливаешься, вот полоса. Хорошо. Теперь светофор зелёный. Поднял ногу, опускаешь на газ, он справа. Медленно опускаешь. Медленно! Жмёшь не до конца. Молодец».

Наконец паркуюсь у океана и ухожу в грохочущую темень пляжа.

Ноги вязнут в песке.

Неподалёку от линии прибоя горит костёр. У него сидят подростки, поют и глушат Budweiser, упаковки которого выхватывают отблески мечущегося от ветра костра.

Они не видят меня, я заваливаюсь на холодный песок и нагибаю вокруг себя бруствер, чтоб не задувало.

Глаза привыкают к безлунной темноте, и ряды серых холмов наплывают на переносицу, обнаруживая источник горькой водяной пыли, которая покрывает лицо. Я смотрю на звёзды и вижу спутник. Он быстро карабкается по небосводу. Спутник довольно яркий, крупнее Венеры. Возможно, это – космическая станция.

Наконец я засыпаю – и на рассвете меня будит Юрий Гагарин. Этот полицейский не то чтобы двойник Первого Космонавта, просто очень похож. Он слепит меня фонарём, хотя уже светает. Левой рукой больно сжимает плечо.

Я поднимаю голову. Угли от костра ещё дымятся.

Вдалеке, огородившись от ветра колясками с коробками и мешками, спят, свернувшись калачиком, два бомжа.

Я достаю из кармана мятую фотографию Юрия Алексеевича Гагарина в скафандре – я вырезал её вчера из *San Francisco Chronicle*. Протягиваю полицейскому.

Он всматривается и расплывается в улыбке:

– Got you, man.

Уходит.

Океан за ночь стих, ворочается.

Пасмурно. Пепельные волны теплеют от невидимого рассвета.

Чайка висит надо мной, вглядываясь в объедки, разбросанные вокруг кострища.

Я вижу, как дрожит перо, выпавшее из строя.

2012

На крышах мира

Я люблю гулять по крышам Иерусалима. Отсюда видно столько неба, отсюда так хорошо просматривается закат, благодаря которому чудится, что весь город обитает на краю какого-то золотистого безбрежья: взгляд не способен упереться в видимый горизонт, поскольку отдалён спуском в пустыню.

Днём в Иерусалиме надо много пить. Обезвоживание наступает незаметно из-за коварной сухости воздуха. Если вы рухнете в обморок в толпе – вас спасут. Если вы в пустыне – это смертельно опасно, и опасно это также в безлюдных местах, например на крышах города.

Я обожаю гулять по крышам, заглядывать в дворики, аккуратно подкрадываясь, а кое-где и подползая. Это такое удовольствие – заглянуть внутрь города, полного подпорных стенок, оград, закоулков, разделённого на кварталы с высокими каменными перегородками: поверху они усыпаны осколками вмурованного стекла. Это очень древнее стекло. Настолько древнее, что оно стало матовым, ослепшим от восходов, полдней и закатов.

Однажды я бродил в полном одиночестве по крышам, как вдруг в одном из мест, после какого-то мостика и поворота, увидел старика с зонтиком от солнца в руке. Он шёл пошатываясь. Не успел я оглядеться, как вдруг старик присел на бортик, огибавший край крыши, и сполз в обморок.

Я поспешил прийти к нему на помощь. Он был без сознания. Я подложил старику под голову зонтик, расстегнул ему ворот рубашки и хотел влить воды в его губы, как вдруг отпрянул. Я увидел, что на шее топорщится край кожи... нет, силикона. Да, это был край маски – одной из тех силиконовых масок, которыми пользуются для розыгрышей или на Хеллоуин, когда хотят кого-то внезапно напугать пришествием какого-нибудь злобного старикана с огромными железными когтями.

Мне стало не по себе. Крыши Иерусалима. Ни единого человека вокруг. Передо мной только что упал в обморок человек, шедший куда-то под немилосердным солнцем в силиконовой маске, в этой сверхъестественной жаре...

Срочно снять маску! Это я и проделал. Я сорвал со старика маску – и обомлел: передо мной на иерусалимской безымянной крыше лежала молодая красивая женщина, одетая в парусиновые брюки и мужскую рубашку. Маска освободила русые волосы, и они разметались по её плечам.

Прошло несколько минут. Я запомнил их навсегда.

Понемногу она пришла в себя. Попила воды и смогла объяснить по-английски, где остановилась. Я знал этот дешёвый отель «Петра», с его верхних этажей открывается прекрасный вид на бассейн Езекии. Я предложил свою помощь, и она, опираясь на мою руку, потихоньку повела меня куда-то.

По пути выяснилось, что она шведка, что давно вышла замуж, но всё ещё бездетна. Маскарад был устроен ею по одной только причине: оказывается, в Стене Плача, в той её части, куда пускают только мужчин, есть особенный «детородный» камень, дотронувшись до которого при молитве женщина наверняка забеременеет.

Маску она надела, чтобы беспрепятственно оказаться у мужской части Стены Плача, где долго молилась под палящим солнцем. А на обратном пути заплутала, замечталась и не успела снять маску.

Вот так я познакомился с Маргарет. Она оставалась в городе ещё неделю, и всё это время мы не расставались. Через год я получил от неё письмецо с одним только словом: «Михаэль». Так я узнал, что родился мальчик, которого называли моим именем.

Хемингуэй

В те времена всем дырам Москвы я предпочитал бар «Хемингуэй» напротив кинотеатра «Новороссийск». Кто жил в то время, помнит это забавное место. А кто не помнит, тот не жил.

В этом баре можно было надраться пинаколадой, хотя никакого отношения к Хемингуэю это пойло не имело. Мы называли его «блевонтина».

Обретался я тогда в сквоте на Цветном. Это был клоповник в общежитии МВД. В конце девятнадцатого века здесь размещалась гостиница, а теперь дом подлежал капитальному ремонту, так что жильцы оказались выселены.

Народ в сквоте был разный. Наркомов хватало. Иных выносили от передоза. Появлялся там и Летов, а в комнате напротив нашей обитал бешеный художник Бенья, обклеивавший коридор своими коллажами. Коридор был такой длинный, что изгибался в перспективе вниз и вправо, следуя за просевшим за столетие фундаментом.

В «Хемингуэй» я заявлялся в сумерках. Я и сейчас обожаю московские закаты, а тогда каждый день выходил на «Боровицкой», перелезал через строительные щиты и пробирался в разрушенный реставрацией Пашков дом. Опасаясь сторожей с собаками, я вскарабкивался на антресоли, а оттуда потихоньку вылезал на купол. С макушки этого холма открывался лучший вид на закат над нашим таинственным городом. Огненные облака затапливали излучину реки, кирпичное барокко Замоскворечья, скаты крыш и карнизы, пыльные окна впитывали солнечные лучи, и город предстал словно в царском облачении.

В тот вечер я познакомился с девушкой, которую оставил кавалер. Сначала они о чём-то долго говорили, сидя за стойкой. Пили водку. Я рассматривал его мокасины, прислушивался к изысканному запаху мужского парфюма. Как вдруг она говорит:

– Пошёл вон, Серёжа. Читай по губам: «Пошёл вон».

Оставшись одна, девушка – хрупкая, в шелковой тесной блузке, с золотыми часиками на запястье, – заказала пинаколаду и пересела на освободившийся стул.

В «Хемингуэе» народ куролесил чуть не до рассвета. Но мы ушли раньше и быстрым шагом добрались до Цветного.

Утром, широко раскрыв глаза, она в ужасе разглядывала мой закуток, пока я на спиртовке варил кофе.

Накануне я узнал, что она окончила иняз, читала свободно Маркеса, зарабатывала синхронным переводом и планировала с торговым атташе Серёжей перебраться в Аргентину. Она ещё раз оглядела моё бедное жилище, посмотрела себе на руку и тихо, с ненавистью произнесла:

– Где часы?

– Какие часы?

– Ночью я сняла часы и положила их в темноте куда-то.

В комнате из мебели имелись только этажерка и кресло, в которое я брезговал садиться. Часы нашлись на этажерке.

– А я думала, с ворьём связалась.

– Фамильные? – спросил я.

– Фамильные. Зинаиду Райх знаешь?

2019

Alabama Song

Дело было в Алабаме, куда я свалился с небес, как кузнечик, прибыв по воздуху самым дешёвым способом – с десятком пересадок.

Самолёт напоминал маршрутку: он взлетал, и садился, и снова взлетал. Одни пассажиры выходили, другие заходили, менялись пилоты и стюардессы, земля разбегалась под крылом, уходила из-под ног и в какой-то момент опрокидывалась лицом и превращалась в карту. Над всей страной стояла безоблачная погода, и это было большой удачей, позволившей рассмотреть последовательно столько ландшафтов, столько пустынь и гор.

Под конец в самолёте я остался один из всех живых существ, начинавших со мной воздушное путешествие. В Бирмингеме меня встречал институтский приятель, у которого я собирался погостить, после того как подзаработал денег на доставке пиццы в Сан-Франциско.

Гахов был рослым, бородатым, уже слегка седым. В двадцать два года проседь элегантно делала его старше. Совсем недавно он уехал впопыхах из России куда глаза глядят. Точнее, куда брали студентов с отличными результатами GRE, но пропустивших все дедлайны. Так он наобум оказался в Алабаме, удивительном месте, настолько не похожем на Калифорнию и на США вообще.

Я бы сравнил разницу между Сан-Франциско и заболоченной Таскалусой, поросшей чёрными дубами и деревьями гикори, огромными, как воздушные города, с разницей между Москвой и Ташкентом. Но это, конечно, смехотворное сравнение.

За всё время в Алабаме я так и не научился понимать, сколько я должен на заправке, настолько английский язык, перемолотый неразжимающимися челюстями, отличался здесь интонационно и фонетически. И только в Алабаме мне приходилось видеть в супермаркетах нарядную старушку в кресле-каталке, управляемой горничной – чёрной чопорной женщиной, одетой в шерстяной тёмно-синий костюм с белоснежными кружевными манжетами и воротничком. Только в Алабаме чёрный юноша, убирающий от опавших листьев лужайку перед крыльцом, кланялся мне и интересовался, не может ли быть чем-нибудь полезен.

Гахов, в самом деле, был отчасти похож на Тургенева – благодаря своей скуластой аристократичности и шапке прямых волос над крупными точными чертами лица. К моменту моего прибытия он ещё не обзавёлся автомобилем и прикатил за мной в аэропорт в сопровождении соученика на каком-то выдавшем ещё Элвиса катафалке. По дороге из аэропорта было решено – я одалживаю Гахову на автомобиль две тысячи, все свои сбережения, а он вписывает меня в свой картонный домик на краю кампуса и обязуется делиться пропитанием.

В тот же вечер мы, изучив объявления в рекламном листке, отправились покупать «Тойоту-Короллу» на другой конец города. Это стало приключением, потому что по обочинам в тех краях ходило только самое отребье, то есть никто. Нам сигналили и что-то кричали из проносившихся автомобилей, а мы шли и шли, спускались в овраги, поднимались на холмы, пересекали по мосткам болотные низины и не унывали, поскольку за студенческие годы привыкли к пешеходным скитаниям.

За нашими плечами имелись баснословные пешие маршруты: например, Воробьёвы горы – Долгопрудный или Новодачная – Шереметьево, где мы в ночи считали за праздник попасть в столовую таможенников на четвёртом этаже аэропорта и потом сидеть в ней над преферансом, посматривая на мигающие за панорамным окном самолёты, которые со временем должны были отправить нас в желанное, как невеста, будущее.

И вот мы с Гаховым, оказавшись в этом будущем, явились по адресу и постучали в дверь одноэтажной Америки. Через минуту, открыв широко глаза, на нас смотрел прожжённый продавец подержанных машин, решивший, как водится, торгаться с площадки по объявлению старушкой-«короллой», чей пробег был равен десяти оборотам вокруг планеты по экватору.

Люди данной профессии (я уже усвоил к тому времени это нехитрое, но важное знание) не обладают ни страхом, ни упрёком. У них часто потные подмышки на застиранной белой рубашке и белёсые бегающие зрачки. Сжав в кулаке полный стакан вискаря, поджарый хмурый дядька, который был удивлён нашим ответом на вопрос, откуда мы такие припёрлись пешкодралом, да ещё и русские, протянул нам ключ от «тойоты». Ещё больше он удивился тому, что мы машину не угнали, и, забирая ключ, осушил ополовиненный за это время стакан.

Машину мы Гахову купили только через пару дней, и это была прекрасная «Ниссан-Сен-тра», на которой мы немедленно отправились в Новый Орлеан, где отпраздновали в джазовых барах мой день рождения, как всегда выпавший на День благодарения, снаряжённый горами индюшачьих прелестей. В Новом Орлеане нас первым делом обворовали – утащили рюкзак Гахова, забытый на переднем сиденье, так что на обратном пути мне пришлось ехать сзади, выставив ноги в выбитое окно, хоть таким образом спасая салон от напора дождя.

Дом наш стоял на краю системы обширнейших лужаек, сливавшихся по мере приближения к центру кампуса в одно бескрайнее поле короткостриженной травы, посреди которого располагались корпуса университета. В один из дней, когда Гахов уже был на семинаре, меня разбудил стук в дверь. Я открыл, и на пороге предстал одноглазый мужик в повязке капитана Сильвера. Он отрекомендовался потомком индейцев, сынов народа Ручья (Creek People) – коренного населения, уничтоженного в этой местности цивилизацией, – и попросил двадцатку на опохмел. Я дал пятёрку и вынес ему холодного пива, и мы ещё немного поболтали о прервратностях судьбы.

Среди прочего мне запомнился его рассказ о том, что неподалёку от нашего дома есть в поле колодец, куда когда-то кинулись мать с дочерью. Дело было во время гражданской войны. Обе женщины лишились – одна мужа, другая жениха. Каждый вечер они выходили на просёлочную дорогу, поджидая известия. И однажды они его получили: оба мужчины были убиты в одном бою. Женщины немедленно наложили на себя руки, кинувшись в этот колодец, и с тех пор их призраки бродят по здешним местам, появляясь в вечерних туманах.

Кривой Глаз потом к нам захаживал частенько, вёл себя скромно, рад был выпить, поболтать по душам и дать повод Гахову вновь обвинить меня в том, что я привечаю чёрт знает кого.

В Таскалусе было интересно, я не думал, что там задержусь, но вышло иначе. Прежде всего, как и во всех университетах страны, здесь имелась сверхъестественная библиотека, где русской литературы мне бы хватило на всю жизнь. Американцы осваивали русскую культуру по той же причине, по какой давние враги понемногу перенимают повадки друг друга: ведь победить могучего противника можно только, если его узнаешь и полюбишь. Отчасти поэтому вся Америка напоминает мне одну огромную библиотеку.

Развлечений в Таскалусе я нашёл себе немного. Либо торчал в барах на университетском, очень коротком, Стрипе¹, либо дожидался туманного вечера и отправлялся бродить вокруг засыпанного проклятого колодца, окружённого кольцом великолепных гикори. Или шёл посмотреть, как студенты соревнуются в автомобильных кольцевых гонках на время.

Маршрут проходил вокруг кампуса, и заправлял гонками де Сильва, изящный, как тореадор, бразилец, блиставший своим канареечно-жёлтым «порше», деньги на который ему прислал отец-бизнесмен из Рио-де-Жанейро. Девушка его, чуть пухлая блондинка, была с ним неразлучна. Их знали все, о них только и было разговоров.

Да, возвращаться я не торопился. К тому же в кампусе имелся ещё и Русский дом, трёхэтажный особняк, где обитали студенты из России, прибывшие учиться по обмену. В Русский дом мы с Гаховым захаживали частенько, там мы познакомились с несколькими прекрасными особами, в том числе и с Гертрудой, рыжей девчонкой из Иваново. Она, в свою очередь, свела нас с одним парнем – чёрным пианистом, учившимся на музыкальном факультете.

¹ Стрип – место в кампусе, полоса, часть улицы, где находятся бары и тусуются студенты.

Это был забавный беспокойный чувак по прозвищу Шиммери, что значило «Сверкающий». Наше знакомство началось с того, что Гертруда позвала меня поехать с ней вместе в тюрьму, куда пианист угодил после попытки сбыть излишки гомеопатии. Да, я познакомился с Шиммери, когда он ещё носил оранжевую робу и мы забирали его из тюрьмы – под залог в сотню долларов, уплаченную Гертрудой.

Шиммери играл в джазовом квартете на Стрипе и был ростом и телосложением под стать Кассиусу Клею. Потом он повадился к нам заходить с Гертрудой, жившей в Русском доме с соседкой, одалживаясь пространством для занятий любовью. Они являлись без предупреждения, и мы с Гаховым отправлялись гулять, перебрасываясь тарелочкой фрисби, пока наша хижина гремела и плясала коробочкой. В качестве сурдинки Шиммери включал одну и ту же кассету с подборкой самых разных исполнений «Когда святыя маршируют».

Ехать восвояси я всё медлил. Но вот однажды произошла история, после которой у меня не осталось выбора. В один из вечеров, налитых туманом, явился Шиммери, но не с Гертрудой, а с другой девушкой из Русского дома, на которую у Гахова имелись планы. Я огорчился, конечно, но не мог отказать. В расстроенных чувствах ушёл подальше в туман... И потерял дорогу. Я плутал довольно долго. Там и здесь мне встречались огромные деревья. В лунном свете они выглядели живыми существами. Внезапно где-то раздался визг тормозов и грохот. И снова ватная тишина обступила меня со всех сторон. Я пошёл в сторону, откуда раздался этот жуткий звук.

Я долго шёл в тишине. Как вдруг показалась тень. Я отшатнулся, но не успел. В свете луны предстал де Сильва. На нём не было лица, он казался смертельно уставшим, измождённым, будто до того прошёл много-много миль. Я окликнул его: «Эй, приятель, что там случилось?» Он оглянулся, но не ответил и, шатаясь, пошёл дальше. Мне стало не по себе. Я ускорил шаг. И вот выбрался на дорогу. Мокрый асфальт блестел в лунном свете, плыли клочья тумана. Недалеко я ушёл по обочине, когда у дороги показался великан – огромный чёрный дуб. У его подножья стоял расплюснутый жёлтый «порше». Туман вокруг как будто рассеялся, уступая мне путь. Я приблизился и заглянул в кабину. За рулём сидел окровавленный де Сильва. Отсвет лунного света лежал на залитом чёрной кровью лице.

Вскоре на месте аварии возникла суета, подъехали полицейские машины. Я смешался с толпой. Понемногу пятясь, я повернулся и зашагал по дороге. И вдруг увидел на дороге зашнурованную кроссовку. Я поднял её и удивился её необыкновенной лёгкости.

Через три дня мы с Гаховым и Гертрудой промышляли на Стрипе. Как вдруг в бар, где мы торчали битый час, вошла девушка де Сильвы – Хлоя. Она была в чёрной открытой блузке, с траурной кружевной лентой, стягивавшей её волосы. Хлоя прошлась между столиками и вдоль стойки, принимая соболезнования, и попросила бармена угостить всех присутствующих рюмкой текилы – в память о её друге. Мы выпили, и Хлоя присела на колени к Гахову. Она была невыразимо пьяна.

На следующий день я улетел обратно в Сан-Франциско.

2020

Вереск

В ту весну 1928 года Анне впервые приснился остров – что-то очень далёкое, вроде Исландии: вересковые луга и вселенная воды, утёсов; снился, в сущности, сам океан, такой мыслящий, такой холодный и опасный – упади в него, и десяти минут не продержишься, погибнешь от переохлаждения, от непонимания.

На этом острове помещалась её мечта – школа изобразительного искусства, в невероятном, спиралевидном, при этом парадоксально призматическом здании, многокрылом царстве углов, выкрашенном ослепительной извёсткой. Из каждого зала распашные окна во всю стену и до пола смотрели в океанские бухты, синие, стальные, пасмурные, с высоченными, из прозрачных глубин идущими зарослями глянцеви́той ламинарии, среди которых морские выдры, поднявшись с уловом, переворачивались на спинку, чтобы, по-обезьяньи ловко орудуя камушками, расколоть прижатых к груди моллюсков. Сивучи, ленивыми толпами обсиживающие валуны, иногда взмётывались прочь, потревоженные косаткой, молниеносно рассекавшей плавником бухту...

И вот эти залы, полные пустых мольбертов, продавались. Они могли бы стать её, исполнить мечту, позволить набрать классы, а потом... Господи, где же она всё это вычитала, ну, конечно, в атласах преподобного отца Брайана. Но откуда, откуда ученики в Исландии?.. И тут её сон вдруг оборвался чернильной пустотой глубокого предутреннего забытья.

Все это снилось ей – зрелой женщине, жене единственного на весь Иерусалим офтальмолога. Что тут особенного, кому только сны не снятся? Но эта женщина верила, что её картины, на которые она переносит окрестные холмы, целительны. Весь огромный знаменитый дом Нашашибби, расположенный между улицами Яффо и Пророков, дом, купленный сионистом-офтальмологом у самой влиятельной иерусалимской семьи, за два года оказался увешан её работами. В специальных выставочных комнатах проводились исцеляющие групповые процедуры. Больных рассаживали на стульях по периметру и обносили пейзажами. Анна верила в то, что пейзаж – это преобразование Вселенной в состояние мысли. «Почему ландшафт может быть красивым? – спрашивала она себя в дневнике. – Разве геометрия палитры – не древний отпечаток неба и причудливых скал на сетчатке? Что глаз видит и чего он не видит в ландшафте? Полагаю, в этом свойство мозга, преображающее наше зрение». Анна шаг за шагом подбиралась к тайне света палестинского пейзажа: «Солнце оставляет на сетчатке негатив, как на серебряной пластинке: иерусалимские холмы ослепительны и оставляют на зрительном нерве печать тьмы». И жена офтальмолога старалась точно передать теменное свойство света Иудейских гор.

Этого юношу, Ахмада, рослого, плечистого, сопровождал хрупкий слуга, парчовый старичок, терпко пахнувший дорожной пылью и солнцем. Ахмад всё-таки что-то видел, но не мог находиться один вдали от дома. Он всё время сидел у окна и смотрел, как меркнет свет: не то заканчивается день, не то слепота подбирается мелкими шажками.

Художница посильно помогала мужу и проверяла больным зрение по офтальмологическим таблицам. Ахмаду она подсказывала: это буква I, это буква L, это O, а это V...

И произошло чудо: она показала ему свой исландский пейзаж с вересковыми полями и тем удивительным серафическим зданием. Он не мог оторваться от этого этюда, что-то увидел на нём – пронзительно белую звезду лучистого строения? Ахмад держал картину в руках и то подносил к лицу, вдыхая запах красок, то просил поставить её подальше на мольберт... В тот же час он вдруг пожаловался, что глазам больно. Но при этом смог увидеть Анну. «О, господа, как вы прекрасны!» Ахмад благодарил, старик-слуга, воздев руки, расплакался. А муж, явившись и осмотрев больного, сказал, что так бывает, что мы многого не знаем о зрительном нерве. Ведь глаз – это часть мозга, вынесенная на открытый воздух, и кто его знает, о чём мозг

решил подумать. Но его клинический опыт говорит: прозрение ненадолго. И всё-таки этого Анне, которой было не привыкать бродить по иерусалимским холмам, перенося на холсты – даря другим своё зрение, ей этого оказалось достаточно.

Вскоре Иудея померкла для Ахмада окончательно.

Так Исландия оставила сны.

2018

Round Table

К тому времени я проработал в этой пиццерии недели три. Это было в 1994 году, в конце осени. За вечер я делал до десяти доставок. Город уже повернулся ко мне своим лицом, я передвигался по сетке его улиц, как эритроцит по венам. Сменщиком моим был Щеглов, человек лет сорока, чья жена, Катя, работала вместе с моей девушкой Леной в магазине русской керамики на California Street. Иногда мы торчали в этом магазине полночи – среди горшков, кринок и ваз, на которые Катя с Леной наносили псевдорусские орнаменты, взятые из декораций Бенуа к дягилевским «Русским сезонам».

Я тоже принимал в этом участие, это было нашим тайным делом, когда, объевшись кислот, мы принимались разглядывать горшки и, внимая тёплому забвению, выводили колонковыми кисточками узоры рая. Горшки эти постепенно становились похожи на татуированных, беременных солнцем индейцев, и на следующий день хозяин лавки, Турчин, – высокий старик, тревожный потомок белогвардейцев, прибывших из Харбина, – хватался за голову, оценивая нанесённый урон. Но Ленка убеждала его в высокой художественной ценности получившегося продукта, и Турчин, галантно ухаживавший за Юлей, скрепя сердце перемещал наши горшки в долгий ящик, на склад.

Голодный – почти то же, что и голый. Доставляя пиццу городу, я узнавал его нутро. Город, как и любое существо, поворачивался к руке дающей и показывал содержимое своего образа, прежде чем проглотить кусок. Доставка пищи и работа в неотложке – идеальные профессии для того, кто решил понять, что за субстанция обладает именем Сан-Франциско. Несчастье и голод – верные спутники искренности. Случалось, за один вечер город разламывал надо мной свои соты, наполненные человеческим веществом, которое я был едва в силах вместить в багаж впечатлений. Хозяин Round Table Pizza на Van Ness, строгий, проницательный человек лет сорока, предупредил меня в самом начале: «Если тебя убивают, бросай пиццу и беги».

Центр города был похож на доисторический лес, составленный из деревьев чудовищной толщины. Солнца здесь не хватало. В сумерках город стремительно пустел, поскольку населён был офисами сверху донизу, а клерки после пяти оставляли крепость. Улицы, как реки, заполнялись сумрачным туманом, и город, стоящий на холмах, погружался в тайну. Рушащиеся с холмов и взлетающие в темноту улицы становились загадочными, по ним можно было выбраться к заливу и встать лицом к лицу с ледяной тихоокеанской прорвой. Жёлтые такси, похожие на игуан, с рекламными светящимися гребнями на крышах, ныряли с холмов в молочно-туманные реки. Неоновые вывески стриптиз-шоу на O'Farrell светились подобно письмам Валтасара, и я вспоминал слова хозяина пиццерии: «Всегда имей в заглавнике двадцатку, чтобы было что отдать грабителям».

Вообще, люди, заказывающие пиццу, – особые. В каком-то смысле они хищники. Из ряда постоянной клиентуры выделялась одна парочка, за которой мне довелось понаблюдать одним промозглым осенним вечером в перерывах между доставками. Они поглощали пиво кувшин за кувшином и лакомились нашей фирменной Italian Garlic Supreme. Тот год был годом, когда песня Уитни Хьюстон про вечную любовь окончательно завоевала планету. Эта парочка мне сразу понравилась тем, что поставила на музыкальном автомате Cocteau Twins.

Девушка куталась в котиковую шубку, под которой – невозможно не заметить – было только нижнее бельё. Короткостриженная брюнетка с огромными блестящими глазами, она неотрывно смотрела на своего кавалера, который жадно, как это бывает после хорошего джойнта, поглощал один за другим ломти пиццы. Дин сказал мне потом: «Этот парень пилот. Он бомбил Ирак. Теперь он в отпуске, оттягивается с подружкой».

Не прошло и двух дней, как я получил заказ на доставку в самый тёмный переулок даунтауна, где эти ребята, Джордж и Элизабет, обитали в мрачной квартирке, застеленной повсюду

коврами. По-видимому, они там только вдыхали кокаин и занимались любовью. Едва ли не каждый вечер я привозил им обильные заказы: большую пиццу, а то и две, кальцоне, твистеры с пармезаном, пиво. Я оставлял машину в чащобе закоулков Чайна-тауна и поднимался в сердцевину высотного дома, рассмотреть который целиком не было возможности, если только с вертолѐта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.